

Гонфалоньер справедливости

Юрий Колкер



SHOUT
SHARE **IT**

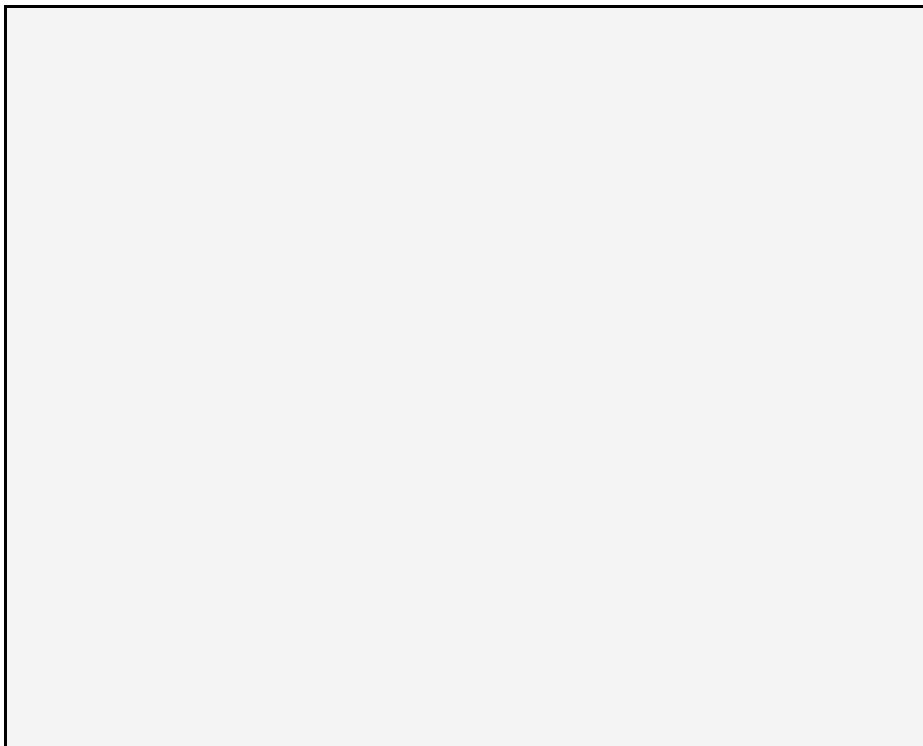
-
- ЮНОША-ВОИН
- ПРОРОК
- ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
- НА ВЫСЕЛКАХ
- ВЫКРЕСТ
- «ОСМЕЛЮСЬ ВОЗРАЗИТЬ!»
- ГЕНИЙ

Юрий Колкер

ГОНФАЛОНЬЕР СПРАВЕДЛИВОСТИ

(О Науме Коржавине)

(2005)





***Наум Коржавин выступает на пушкинском конгрессе поэтов в
Таврическом дворце, Петербург, июнь 1999***

Мы все в долгу перед ним — и не сознаем этого; что, в сущности, нормально. Не вспоминать же с благодарностью Фарадея всякий раз, как мы свет включаем.

Так и с Наумом Коржавиным: он — среди тех, кто открыл нам глаза на природу советского режима. Он включил нам свет. Слышу возмущенный хор: нет, мы сами! Конечно, сами. Кто же спорит? Думающие люди в России никогда не переводились. Но всё же атмосфера понимания создавалась немногими; немногие могут быть названы по именам, и Коржавин — среди них. Согласно знаменитой догадке венгерского писателя Фридьеша Каринти (подтвержденной учеными), между мною и любым

человеком на планете — всего шесть ступеней разобщения, всего пять знающих друг друга посредников. Участвуют семь человек: я-1-2-3-4-5-любой. Я знаю первого, первый — второго, ... пятый — того самого заранее выбранного любого. Можно поручиться, что в среде советской интеллигенции, в сталинской, хрущевской или брежневской России, — с избытком хватало одного посредника. Каждый знал кого-то, кто лично знал Коржавина.

Разумеется, советская власть ушла — и типун на язык тем, кто говорит, что она возвращается (хоть это и похоже на правду). Режим дискредитирован в глазах всех думающих людей, он — прошлое. Но этот режим был частью нашей жизни (для старших — важнейшей частью); он присутствует в нас, даже в тех, кто родился в 1990-е (через их бабушек и дедушек); и он — один из самых поразительных эпизодов мировой истории. Коржавин — в числе тех немногих, кто внес ощутимый личный вклад в разрушение империи зла. Его имя, хоть и не первым, стоит в одном ряду с именами Сахарова, Солженицына, Окуджавы, Бродского, Галича, Алешковского. Дивное достижение! Преклоним колени перед патриархом свободы. И перечитаем его стихи.

ЮНОША-ВОИН

Главной особенностью советского режима была его тотальная, всепроницающая ложь. Говорили одно, подразумевали и делали другое. Такой концентрации лжи — и такой изощренной лжи — история не знала. Бывали хуже времена, но не было подлей. В рабоче-крестьянском государстве говорили слова, на которые не возразишь, — вот в чем была подлость; говорили о справедливости, о прекращении угнетения человека человеком. Какой контраст с нацистами! У *тех* душегубов всё было начистоту.

Конечно, и то правда: мир несправедлив от своего основания, это в его природе. «Несчастлив добрый, счастлив злой...», говорит Боратынский. Да и справедливость — не родная ли дочь зависти? К ней апеллируют и коммунисты, и шовинисты. Она недостижима, но уж если она написана на знамени, то первая ее жертва — культура. Какая справедливость, если один талантлив, а другой нет? Выдавать обоим поровну! Или когда талант внизу, а бездарность — наверху? Но зато когда обиженных в обществе много, справедливость становится притягательна — и соблазняет самых стойких...

Родившимся после воцарения лжи заметить ее царство было непросто. «Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он убежден, что под ним плоскость... Здравый смысл — система предрассудков, складывающихся до восемнадцати лет...». Вывод, к которому мальчишкой пришел Коржавин, был сродни парадоксальным выводам Эйнштейна. А Коржавин именно мальчишкой понял главное. Семнадцатилетним, если не раньше. Понял — и восстал. Мириться не смог.

Что же, никто вокруг не понимал? Нет, понимали, но — не те: старшие, *бывшие*. Ахматова, например; ее выручала религиозность, широкая историческая ретроспектива. Но от старших помощи ждать не приходилось; подрастающие дети не верят родителям, особенно *бывшим* (повзрослев, сперва дедов вспоминают, затем — отцов). В 1942 году Коржавин мог вообще не знать имени Ахматовой (как не слышал о ней Бродский до 1959-го). Если знал, думал, вероятно, что ее нет в живых или что она в эмиграции. Она была не в счет. Прошлый век, барство, декадентство, полумонахиня-полублудница с четками перед иконой (это было произнесено позже, но Жданов не сам придумал; так видели многие). Чему у таких учиться? На дворе — новый мир! Мир справедливости.

Коржавину тоже помогла ретроспектива: поэты прошлого. *Футуристам от политики* не всё удалось сбросить с парохода современности. Не все люди живут только сегодняшним днем. Людей с исторической памятью воцарившаяся ложь опасалась больше всего. Потому-то поэты и были всегда неудобны большевикам: они, в точности как люди религиозные, помнили и сопоставляли, искали опоры в тех, кто жил прежде. Прочим современникам — историческую память словно отшибло. Большинству ученых — тоже. Наука вообще индифферентна к нравственности. В этой гипотезе она не нуждается.

Что же увидел юноша-воин? Началось с малого: со школьной литературы.

*Еще в мальчишеские годы,
Когда окошки бьют, крича,
Мы шли в крестовые походы
На Лебедева-Кумача.
И, к цели спрятанной руля,
Вдруг открывали мальчуганы,
Что школьные учителя –
Литературные профаны.
И, поблуждав в круженье тем,
Послушав разных мнений много,
Переставали верить всем...
И выходили на дорогу.*

Кто такой Василий Лебедев-Кумач, сейчас без микроскопа не выяснить. А тогда — этого поэта-песенника, этого депутата-сановника — *знали все*. Он был одной из физиономий режима. На первой сессии верховного совета выступил с речью в стихах. В школьные учебники, впрочем, не попал, и крестовые походы против него только мальчишеством и можно оправдать.

Дальше — больше: догадка, что общество, задуманное и (казалось бы) построенное на самых справедливых началах, сверху донизу поражено болезнью.

*Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и урча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
(...)
А южный ветер навезает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось*

(Заметьте эти два начальных А в двух стихах одного катрена! Неужели поэту — не мешало?)

***И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные — кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме,
И мне тогда хотелось быть врагом.***

Какой выпад! И когда? В 1944-м! Он и стал врагом. Поначалу — еще не советской власти, она в принципе казалась правильной, даже безупречной, а ее «насквозь неискреннему» извратителю, «сытенькому» чиновнику, поправшему романтику революции. Коржавин верит, что вся беда — в нем: «Он спрятался за знаменами красными, а трогать эти знамена — нельзя!» Коржавин — рефлектирующий бунтовщик, задумчивый карбонарий: «А может, пойти и поднять восстание? Но против кого его поднимать?»

К тому же он — патриот.

***(...) Мы родились в большой стране, в России,
В запутанной, но правильной стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь только с нею,
А без нее их нету вообще.***

Это — 1945-й, год победы. Коржавину двадцать. Казалось бы, уж в этих-то стихах он — со всеми, дудит в общую дуду. Но это не так.

Сейчас прочно забыто, что к 1943 году, под влиянием военных успехов, завершилась идеологическая линька, начатая в 1930-е: интернационализм большевиков вдруг разом уступил место русскому шовинизму. Не СССР, а Россия стала «лучше всех», как в песне поётся, и не благодаря самому передовому общественному строю, а — изначально, с первых шагов своей истории. Началось до войны: фильм «Александр Невский» Эйзенштейна (1938), где главная тема — скрытые враги, уже был насквозь шовинистическим (иные говорят: почти фашистским). А

лакусовая бумажка времени — стихотворение Симонова (урожд. Кирилла Симоняна) осени 1941-го «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Там всё об этом: «русская околица», «русские могилы», «русские обычаи», «русская земля», «по-русски рубаху рванув на груди», «русская мать». В одном стихотворении — восемь русских. А вот концовка: «Я всё-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла...» Каково это было слушать воинам-татарам или воинам-армянам, отступавшим по тем же дорогам Смоленщины? (Заметьте, к слову, как неправильное ударение в этом амфибрахии Симонова невзначай высмеивает стихотворца: вместо *нас русская* приходится читать *насу скую*.)

Еще живы люди, которые были потрясены этим националистическим перерождением большевизма. Оно оказалось глубоким; готовилось долго; в России нашло полное понимание в массах.

Коржавин (родившийся не в России, а на Украине) был подхвачен общим потоком, но почти сразу начал из него выгребать. В 1945-м уже нельзя было без риска сказать про Россию: «запутанная страна». «Правильная страна» — тоже никуда не годилось; сознание, что она — *лучшая*, мессианская, что она спасла или вот-вот спасет, предназначена спасти мир, висело в воздухе (в сознании иных — застряло навсегда). На тех, кто в этом сомневался, в 1945-м писали доносы. Конечно, сейчас мы горько усмехнемся: есть, значит, неправильные страны; с еще большей горечью прочтем (с нашим-то опытом!), что «все пути вперед лишь только с нею, а без нее их нету вообще». «Пути вперед» оказались — к путинской России, к денежному мешку и коррупции, к валюте и Малюте, к несвободе уже не во имя справедливости, а прямо и неприкрыто — ради власти, ради эксплуатации человека человеком. А «нету вообще» сегодня невольно так читается: в других странах живут люди непутевые — и даже не совсем люди. Но не забудем: автору — всего двадцать, а на дворе — 1945-й. Опять — дивная смелость, вызов, самостоятельное осмысление происходящего.

В 1945-м Коржавин поступил в московский литературный институт (где, говорил Солоухин, считался одним из самых способных студентов); в 1947-м он был арестован, сидел на Лубянке, находился в ссылке до 1952-го, затем амнистирован, реабилитирован, в 1959-м окончил литературный институт, в 1963-м был принят в союз писателей и выпустил книгу стихов. По-настоящему начал публиковаться с 1961-го.

Послесталинская оттепель обманула. К концу 1950-х всё яснее становится, что «советская власть неисправима, неизлечима» (Аркадий Белинков), что она в принципе порочна. «Единственно правильное учение» на глазах превращалось в утопию. Вторжение в Чехословакию поставило последнюю точку. Все, кто способен был понять, поняли.

Но это — потом. А в 1953-м, и особенно после хрущевского съезда (1956) люди верили. Еще бы! Происходило невероятное: из лагерей стали возвращаться. Вернувшихся — принимали в общество, восстанавливали, реабилитировали. Вчерашние узники сами едва верили этому. (Лучший пример — Заболоцкий, словно росой умывшийся просто от возможности жить на воле, писать и публиковаться.) Палачи забеспокоились. Фадеев пустил себе пулю в лоб (как вскоре выяснилось, зря; поторопился.) Весенний воздух будоражил, окрылял. Люди стали делиться своими мыслями, обсуждать, надеяться. Нарождалось общественное мнение. Делало первые шаги диссидентство. И — поднял голову самиздат.

Тут всем стало ясно, что Коржавин — пророк. Разве не произнес он страшных истин еще в начале 1940-х? Разве не приучал вдумываться, вглядываться, сомневаться?

Вчерашний ссыльный, еще не член союза писателей, оказывается на гребне волны. О нем говорят, его стихи переписывают от руки (пишущих машинок у частных лиц еще почти нет). Его слава становится всемошквской, а главное — народной, несанкционированной, настоящей. И киевлянин полюбил Москву ответной любовью; полюбил этот город, главной исторической характеристикой которого было и остается самодовольство; поверил, что Москва и есть Россия.

Библейский пророк — не ясновидящий, он не предсказывает будущего, а зовет народ к нравственному очищению. Именно это и делает Коржавин. Теперь уже все знали: марксистские вожди — не святые, они ошибаются, бывают властолюбивы, творят несправедливости и жестокости (да-да, это *знание* было важным шагом вперед!). Но противостоять гнету, опиравшемуся на сияющую правду, на безупречную и незыблемую теорию, и тогда решались немногие. Коржавин — не мог не противостоять: любая несправедливость взрывала его изнутри. Он становится совестью России, — не в одиночку, нет, а в числе немногих самых отважных, самых жертвенных (разумеется, из числа тех, кто был замечен; как быть совестью, если тебя не слышат?). При этом

диссидентство как движение его ничуть не привлекает. Он просто «не может молчать».

А в Москве подмораживает всё явственнее. Молчать всё труднее. В 1966-м Коржавин выступил в защиту Даниэля и Синявского, в 1967-м — в защиту Галанскова и Гинзбурга и за обсуждение письма Солженицына четвертому съезду писателей. Всё это идет ему в зачет в глазах крепчающих день ото дня хозяев. Его досье давно вернули из архива.

К этому времени явственно обозначилась и новинка: антисемитизм в среде диссидентствующей интеллигенции. Евреи оказались в тисках: режим — не пушал в университеты и лаборатории, на сцену и в журналы; общество, недовольное режимом, — в народившиеся салоны, к очагам культуры нравственного сопротивления. Тут-то Гарик Губерман и произнес свое знаменитое: «за столом никто у нас не Лифшиц».

В 1971-м Коржавин пишет поэму *Абрам Пружинер. Сказание о старых большевиках Новороссии и новых московских славянофилах*. Героя поэмы, комиссара-еврея, автор высмеивает и унижает:

*И от классовой фортуны
Опьянев, — на всех орлом
Вниз глядел как бы с трибуны,
Даже дома за столом.*

Новым славянофилам Коржавин говорит, что они — духовные дети этого комиссара, хоть и отрешиваются от него:

*Лишь тебя за всё, что было,
Производят в князи тьмы
Молодых славянофилов
Романтические умы.*

Он пишет, что «умы» прибегают к методам Пружинера; утверждает, что у него, Коржавина, — не меньше прав на Россию, чем у любого из этих славянофилов.

Но теперь уже его не слышат. И вот в 1973-м, после допроса в московской прокуратуре, Коржавин подает заявление на выезд. У него будто бы осведомились о причине такого решения, а он, как передают, ответил: «Нехватка воздуха для жизни». В ту пору почти все, хоть и по разным причинам, могли бы сказать такое, да не у всех спрашивали.

В 1974 году Коржавин эмигрирует и поселяется в Бостоне, штат Массачусетс.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Говорят, все мы (старшие) — продукт советской системы. В самом отталкивании от режима присутствует привязанность к нему, счеты с ним занимают место в наших душах. Солженицын, Бродский, Галич — даже они не освободились вполне, унесли большевизм на своих подошвах.

Про Коржавина это можно сказать с еще большим основанием. В сущности, он (прибегнем к рискованному оксиморону) просто — *честный советский человек*. В новом мире, провозглашенном Октябрем, его всё устраивало — если бы только слова учения не расходились с практикой Кремля. Слова-то всё хорошие были произнесены: интернационализм, равенство, отмена угнетения человека человеком...

Тут кроется трагедия. Ибо опыт показал: *честный и советский* — «две вещи несовместные». Коржавин, как сказано, внес ощутимый личный вклад в разрушение империи зла, но сделал он это невольно, нечаянно: сам-то он сражался за ее, империи, сохранение. Он твердил бандитам Кремля и Лубянки: будьте честны! — и долго, долго не понимал, что они — не могут, не смогут, даже если б захотели. Делал он свое дело с редким мужеством, с непостижимым упорством. Верил, значит, что люди могут жить в братстве, работать бескорыстно, быть добры и справедливы друг к другу. Получается, что по всей логике, по всему здравому смыслу и праву он, Наум Коржавин, — герой Советского Союза. Лучший из героев.

Коржавин и в другом — советский человек: он считал нормальным существование субсидируемой литературы, естественными — учительные функции печатного слова. Он верил и верит, что писатель и читатель — два разных зоологических вида: писатель каким-то образом возвышается над читателем, умнее его, имеет перед ним преимущества, общественные и чуть ли не правовые (всяческие там дома творчества, деньги из литфонда и иные подачки, а главное — право на творческую праздность в стране подневольного труда). В этом ему тоже не повезло: он дожил до эпохи, когда грань между писателем и читателем в русской культуре стерлась окончательно — как это и должно быть, как это всегда и было на Западе. «Властителя дум», водившегося в России XIX века, развенчали, стащили с его идеологического пьедестала.

Но худшая из советских черт пришла к Коржавину с послесталинской оттепелью, когда, как чорт из табакерки,

выскочили на эстраду фальшивые крикуны-рифмоплеты. В ранних стихах Коржавин пытался размышлять, тут — начинает ораторствовать. Ему, как и этим скоморохам, нужен переполненный зал. Где, в какой стране западной цивилизации можно вообразить поэта-трибуна? Не то что сейчас, а хоть в XVIII веке? Их нет. Поэтов-вождей видим только в странах с неокрепшими свободами. В молодых *демократиях* Африки они, случалось, правительства возглавляли. Те же сумерки свободы забрезжили в России в 1950-е годы. Как раз тогда про Евтушенку было сказано страстным заговорщическим шепотом: «этот человек способен возглавить временное правительство!». Поэты собирали тысячные залы слушателей — и уверились, что так и должно быть, что слушатели пришли к ним за поэзией, а не за глотком свободы. Тогда и в стихи Коржавина попали лозунг и пустая риторика.

Наконец, и в своей любви к Москве он — патриот не русский, а советский. Москва при большевиках превращается в спрута, сосущего кровь из всей страны. Она — город-эксплуататор, и в этом смысле — отрицание России. Московская прописка сделалась привилегией почище членства в союзе советских писателей, отгораживала привилегированных от полуголодной провинции, от бед и нужд большинства. Вся власть, все деньги, все возможности — были там. Все оппортунисты ринулись в столицу. Диссиденты, и те имели в Москве льготы: до посадки — право быть услышанным дома и за границей, после отсидки — опеку со стороны фрондирующей богатой московской публики. Даже для отсидевших литераторов находилась работа в издательствах. Всё в этом дебелим «городе кровей» дышало самодовольством и внутренним нездоровьем — совсем как в Ниневии Ашшурбанипала. И московское самодовольство передалось Коржавину, присутствует в его стихах.

НА ВЫСЕЛКАХ

Многим волей-неволей пришлось признать, что не «все пути вперед лишь только с нею». Коржавину — тоже. Оказалось, что в России — дышать нечем, жить нельзя, а сама она пятится куда-то назад, в средневековье. Наверху сидели недоумки и недоучки, бряцавшие Марксом; в народе (ибо интеллигенция и есть народ) образованные и как будто бы неглупые люди черпали вдохновение в расовой неприязни; в толпе — старинная расовая неприязнь на глазах переходила в ненависть.

Коржавин не был выслан, уехал сам, принял решение мужественное и, в сущности, трагическое. Можно сколько угодно заклинять себя: «не дорожи любовью народной». Кто этой любви вкусил, ее не забудет, обречен страдать от ее нехватки, как от удушья.

Это и произошло. Русско-еврейская Америка 1970-х была элизиумом теней для человека, дышавшего московским воздухом 1940-60-х. Признание никуда не делось, даже любовь народная была тут; читатели Коржавина начали выезжать года на два раньше, чем выехал он. Но любовь эта была не той интенсивности. Еще Кюстин писал, что в свободной стране поэту делать нечего. В потребительском обществе поэзия — обочина жизни, занятие маргинальное, привлекающее немногих. Русская поэзия в иноязычном мире — обочина обочины. Коржавин внутренне готовился к изоляции в чужеродной среде, провозглашал на языке, которого так и не выучил: «I will be happy!» (думал, вероятно, что это по-английски — полнозвучный ямб), но он не был готов к тому, что русские стихи съедятся, их шрифт измельчает; не был готов к отчуждению от того, что в Москве напыщенно и самонадеянно именовалось духовными ценностями.

В год выезда Коржавину нет пятидесяти, он еще далеко не старик, а — всё позади. Антей оторван от почвы. Мира, в котором он жил, больше нет ни по ту, ни по эту сторону океана. Есть мир теней, мир прошлого. Коржавин на выселках и сам становится тенью. К западной жизни ключа не находит, окружающей действительности не чувствует. Его бросает в крайности. Он чуть-чуть смешон — как всякий человек, не понимающий своего места, переживший свою эпоху. Он вещает из своего угла — и не видит, что слушатели прячут улыбку. Он горячо, смакуя московскую *poésie maternelle*, рассуждает о мировой политике (при этом путает Намибию с Зимбабве). Он сражается с тенями во имя

других теней. Его проза многословна, бесформенна, скучна. Его выступления против Бродского неубедительны (эпоним сороковых сердится на эпонима 70-х за то, что тот пишет неправильно и забрал слишком много власти; несправедливо!). Он — Эйнштейн в Принстоне: пребывает в стагнации, не понимает выводов, сделанных другими на основании его же открытия.

Зачем Коржавин крестился? Трудно вообразить себе человека менее религиозного. Стихи не оставляют в этом сомнения. Бог там назывной, лозунговый, лубочный; присутствует, как Маркс в стихах советского поэта. (Этим, конечно, Коржавин, как и многие, нарушает третью заповедь: не поминать всуе.) Тут он полная противоположность Заболоцкому, который считал себя атеистом, на деле же, в стихах и в жизни, был человеком глубоко верующим. Не про таких ли, заповедь чтящих, Чехов сказал, что «равнодушие у хорошего человека есть та же религия»? (Это из дневников 1897 года: «Легкость, с какою евреи меняют веру, многие оправдывают равнодушием. Но это не оправдание. Нужно уважать и свое равнодушие...»)

Народное религиозное творчество всегда шло в России от Нового завета к Ветхому — и только в послевоенном СССР двинулось в противоположном направлении. В 1960-70-е интеллигентные евреи массами стали креститься. Делали они это, что называется, по велению сердца, по зову свыше, но в социальном смысле это был эскапизм. Не хватало воздуха для жизни. А поскольку большевики верующих не поощряли, то в крещении был еще и вызов. Понятно, что Коржавин не мог пройти мимо этой формы протеста. К тому же все великие русские писатели прошлого были православными. Мысль «лучше — с ними, чем с предавшим справедливость Кремлем» могла присутствовать в его решении. Бога в этом решении не чувствуется.

«ОСМЕЛЮСЬ ВОЗРАЗИТЬ!»

А стихи?..

При имени Коржавина в памяти тотчас встают три стихотворных фрагмента. Первый — знаменитое возражение Павлу Когану (1918-42), погибшему на фронте молодому поэту, с которым связывали большие надежды. От Когана остались студенческая песня *Бригантина* («Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза...») и очень идеологический, большевистский выпад: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал...». Как и Багрицкий, Коган страдает ностальгией по романтике революции, растоптанной «сытенькими» обывателями.

В 1944-м Коржавин затевает «крестовый поход» против Когана, противопоставляет политической правде — эстетическую, жестокости — человечность:

*Меня, как видно, Бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал,
За то, что он такой законченный.*

Звучит тут, конечно, и ревность к ранней славе Когана, но дело не в ней: как это часто у Коржавина, первые два стиха катрена — вообще необязательны, они всего лишь подставка для двух вторых. Заметим еще, что «Бог» в этих стихах целых 45 лет писался со строчной. Зато уж «родина» у Коржавина — как в сочинении прилежного советского восьмиклассника — всегда идет с прописной, вопреки грамматике и логике русского языка. Это чисто советский фетишизм: на место творца вселенной — в качестве истинного Бога — подставляют страну.

Второй фрагмент — патриотический, это возражение Н. А. Некрасову:

*...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.*

Третий фрагмент — диссидентский, бунтарский; это «крестовый поход» против самого Ленина, у которого «декабристы разбудили Герцена».

*Любовь к добру разбредила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло.*

*И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.*

*(...) Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?*

Здесь зал непременно разражается бурными аплодисментами. Аплодируют до сих пор. Да и как иначе? Старшие еще помнят времена, когда Ленин был мессией, а эти дерзкие стихи — в 1972-м написаны! Коржавин свободой, а значит — и жизнью рисковал, — ради нас, ради правды. Перед нами новый Радищев, бунтовщик хуже Пугачева.

Три фрагмента. Все три — реплики типа «осмелюсь возразить!», с вызовом и юношеским задором. И все три — без всякого ущерба для смысла — перекладываются веской убедительно прозой. Где тут собственно поэзия? Перед нами фельетоны. Остроумные, резкие, точные и (главное достоинство фельетона) своевременные. Поэзии с ее виноградным мясом — тут нет вовсе; не ночевала; простыни не смяты. И рифма — не в счет. Она вообще не отличительное свойство поэзии, она и в поговорах присутствует («любовь зла, полюбишь и козла»), и в афоризмах, запавших в душу векам (la canne pensant; не было бы у нас мыслящего тростника, не случись у французов созвучия), а поэзия обходилась без нее тысячелетиями.

Точнее, рифма тут *почти* не в счет. Она свое дело делает. Звукопись в поэзии привносит в текст *убедительность*, приближает стих к формуле. Только за этим рифма Коржавину и потребовалась. Он хочет убеждать, переубеждать — и видит, что в рифму это удастся лучше, люди больше прислушиваются, крепче запоминают. Никакой другой правды рифма у Коржавина не содержит, и от этого она такая заскорузлая, безвкусная. «Живую ветвь с родного берега», как у Боратынского, она не несет, «с божественным порывом» никого не мирит.

Другая особенность стихов Коржавина — их частушечность. Это ведь в частушке первые две строки служат подставкой для двух вторых. Они всегда присочиняются задним числом — и отдергиваются перед нами, как занавес перед публикой, открывая эффектный афоризм или дидактический пассаж. Шов посреди катрена у Коржавина всегда просто в глаза бросается, и этот рассудочный, механистический конструктивизм убивает всякую естественность, а с нею — и поэзию. Афоризм ведь совсем не обязателен в поэзии, не им она жива. Грибоедов весь состоит из блестящих и острых предметов, только косвенно соотносящихся с поэзией.

Конечно, мы не забудем еще некоторых стихов Коржавина. Например, этих:

*Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
(...) За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
(...) Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин идеи были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было!
Мужчины мучили детей!*

Правда, правда! Сильно сказано, точно подмечено! Но опять: перед нами — фельетон, нравственно безупречная и совершенно непоэтическая мысль, слегка закамуфлированная под поэзию. Поставим рядом с нею одну наугад выбранную строфу из стихов почти полного однофамильца Коржавина — ну, хоть эту —

*Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам*

С стигийской нежностью и веткою зеленой.

— и мы немедленно почувствуем, что Коржавин отбрасывает нас назад, в эстетическую пустыню народничества XIX века. Есть на свете правда более высокая, есть настоящая поэзия, и когда она воссияет, тут уж не до справедливости становится.

По исполнению стихи Коржавина плоски, невыразительны, просто плохи. Нередки и прямые примеры невладения языком: «Где б вам знать, что он такими / Был, как вами, удручён...». Так по-русски сказать нельзя: «такими, как вами»; полагается: «такими, как вы». Но автору — не до пустяков, не до изящества. Он — сражается.

Отметим забавность: вместо вполне литературного слова *говно* Коржавин стыдливо пишет «г...о» (а в быту — верующий человек! — не брезгует матом). Разве это не равнодушие к языку? Позволительно не знать, что слово *говно* (однокоренное со словом *говядина*) — древнейшее в русском языке, идет от старинного индоевропейского корня, восходит к Шумеру; но палитру свою поэт знать должен, и отвечать перед Гуттенбергом за произнесенные звуки — обязан.

Из трех неперемненных составляющих искусства — артистизма, совести и мысли — у Коржавина гипертрофирована совесть, нравственное начало, впрочем, целиком направленное на дела общественные; удовлетворительно представлена мысль (поэту вообще совсем не обязательно быть мыслителем) — и напроочь отсутствует артистизм в обращении со словом. Атмосфера тут сперта, дышать в его стихах почти нечем.

В одном из ранних (1947) стихотворений Коржавина читаем:

*На кой оно мне черт? Ведь я ж не гений –
И ведь мои стихи не на века.*

Не знаем (и знать не будем; контекст молчит об этом), всерьёз ли он так думал или, по своему обыкновению, бросал вызов читателю и судьбе, но одно знаем наверное: его стихи, точно, не на века. Они слишком привязаны к сегодняшнему дню, к советскому времени. Горизонт их узок, подстилающая мелодия переупрощена, интонационно они худосочны. Даже откровенный приспособленец Симонов с его дорогами Смоленщины звучит рядом с Коржавиным, как орган рядом с шарманкой. Явись Коржавин среди нас не в сороковые, а в шестидесятые годы, у него просто шанса бы не было прослыть поэтом (и, уж конечно, ни в литературный институт он бы не попал, ни в Москву; просто потому, что евреев уже не пустили). Культурный уровень общества разом подскочил. Тысячи, да-да, тысячи людей пишут по-русски стихи увереннее, выразительнее и лучше, чем он. В том же Бостоне их немало. Даже до среднего уровня сегодняшней стиховой культуры, не то что поэзии, стихи Коржавина не дотягивают.

Зато с первым утверждением можно и нужно поспорить. Коржавин — именно гений.

В расхожем смысле гений — высшая степень таланта. Но что же тогда имел в виду Пушкин, говоря: «Конечно, беден гений мой»? Он под гением разумел одержимость, одухотворенность. Французское *génie* означает не только *гений*, но и дух, что-то бесплотное и сверхъестественное, что иногда овладевает нами. Ближайший лингвистический и семантический родственник *génie* — джинн, *djinn* (дальний — джин, тоже сидящий в бутылке: анисовая водка). Джинн порою служит и нам, может по нашему приказу построить дворец или разрушить город, но в другом смысле он тоже владеет нами; природа у него та же: сперва его нет, потом он появляется, разрастается до непомерных размеров и нас в облака поднимает на ковре-самолете.

Приложив этот подход к Коржавину, видим, что и он — именно гений: гений справедливости, гений нравственного горения. Тут ему равны единицы, и не только в наше время. Его горение — пророческого накала. На Коржавине — перст

провидения, печать избранничества. Он помазанник божий, и слава его — заслужена.

Приверженность к стиху, к стиховому осмыслению мира у Коржавина — феноменальная. Мыслить он умеет только в рифму. Никогда ничем другим даже и не пытался заниматься — только сочинял. (В 1953-м в Караганде окончил горный техникум, но в штейгеры не пошел.) Верил в свое призвание, как мало кто. Не повторил бы вслед за Боратынским: «Меж нас не ведает поэт, высок удел его иль нет, велика ль творческая дума...» И вот эту одержимость, эту *графоманию* (слово, срочно нуждающееся в реабилитации; все великие писатели были графоманами) очень можно в Коржавине оценить и превознести.

Выходит вот что. Перед нами — матерый человечище. Истории русской литературы XX века без него не напишешь. Он — гонфалоньер справедливости, борец, трибун, Радищев, Прометей, цадик. Освободить наше представление о Коржавине от этих смыслов, сказать о нем: *поэт, только поэт*, — значит унизить его, а с ним — и всех нас (не говоря уже о поэзии). Потому что мы знаем от Буало (повторившего Горация): «В стихах посредственность — бездарности синоним».

Скажем еще раз: мы все в долгу перед ним... А стихи? Они здесь, в сущности, ни при чем.

26 февраля 2005, Лондон

журнал НЕВА (Петербург) №6, 2005.

журнал НА НЕВСКОМ (Петербург) №9, 2005.

еженедельник ОКНА (Тель-Авив), 2005.



ЮРИЙ КОЛКЕР, 2006, ЛОНДОН